



## **А. К. ДЖИВЕЛЕГОВ**

### **Александр I и Наполеон**

<Фрагменты>

<...> От Аустерлица до Тильзита, от Эрфурта до Березины, от Люцена и Бауцена<sup>1</sup> до второго отречения — на всех путях мировой политики были имена Наполеона и Александра. То сплетаясь в дружеский вензель, перед которым курили фимиам поэты и дипломаты, то сталкиваясь в безысходных противоречиях, наполняли эти два имени Европу, и казалось современникам, что носители их люди, одинаково крупные, одинаково могучие, великаны оба. И не только в глазах современников стоял между ними знак равновеликости. Потомство долго еще не хотело расстаться с этим взглядом. Даже наука отдала ему дань.

Теперь прошло сто лет с того момента, который был решающим в борьбе Наполеона и Александра; наука накопила достаточно много фактов и может ставить свои вопросы по-иному, чем прежде. В современной постановке центральное место занимает вопрос, под какими знаками действовали в истории Наполеон и Александр, что осталось в результате их деятельности. Личная характеристика превращается вследствие такой постановки вопросов из самодовлеющей задачи на манер Плутарховой в чисто служебное научное орудие.

Но тут с самого начала приходится сделать одну очень важную оговорку. Фигура Наполеона выяснена, можно сказать, исчерпывающим образом. Десятки томов его переписки; мемуары, записанные с его слов; беседы с ним, запечатленные верными и преданными руками; кропотливая работа в архивах, проделанная целой фалангой даровитых ученых, позволяют нам восстановить образ величайшего полководца нового времени с большой достоверностью. Наоборот, документы, которые позволили бы нам так же всесторонне воссоздать образ Александра, находятся в огромном большинстве под спудом. Только в последнее время, благодаря неутомимой энергии великого князя Николая Михайловича, начинают выходить они из тайников и становятся доступны обыкновенным смертным. Этим недостатком подлинных

документов и объясняется то странное на первый взгляд явление, что в оценке Александра так жестоко ошиблись величайший публицист, величайший историк и величайший художник новой России. Герцен назвал Александра «коронованным Гамлетом». Ключевский сказал про него: «Александр был прекрасный цветок, но тепличный, не успевший акклиматизироваться на русской почве. Пока стояла хорошая погода, он рос и цвел роскошно, наполняя окружающую среду благоуханием; а как подула северная буря, как настало наше русское осеннее ненастье, этот цветок завял и опустился». Наконец, Лев Толстой исчерпал все свои краски, чтобы окутать Александра светлым и теплым облаком обаяния. (Наоборот, к Наполеону и ко всему, что с ним связано, Толстой относится явно несправедливо. Отрицательное отношение к Наполеону, конечно, понятно. Но у Толстого в «Войне и мире» это отрицательное отношение вызывается чем-то таким, что делает его менее понятным: каким-то странным для Толстого чувством легитимизма. В Наполеоне читатель романа все время видит выскочку, который позволял себе вещи, которых не должен позволять: «Ней, который теперь назывался герцогом Эльхингенским», «Мюрат, который теперь назывался королем Неаполитанским». Почему-то, когда Наполеон дарил своим соратникам высокие титулы, это коробило Толстого 60-х годов. Как будто есть какая-нибудь разница в том, что генерал получает титул графа Рымникского, князя Итальянского, князя Эриванского или герцога Эльхингенского, Ауэрштедтского, Риволийского!..<sup>2</sup> Толстой старается сорвать со всех маршалов лавровые венки, которыми увенчала их история. Называть Даву «Аракчеевым Наполеона» — значит просто закрывать глаза на многие вещи. Это, конечно, не значит, что у Наполеона не было своих Аракчеевых, но не герой же Ауэрштедта, Ваграма и Бородина играл при нем эту некрасивую роль. Все черты доблести и героизма, обнаруженные французами в 1812 году и засвидетельствованные русскими, у Толстого затушеваны. Трагическая эпопея отступления почти обойдена молчанием. Ней выставлен чуть что не трусом. Биографам Толстого придется где-нибудь поискать причин этого странного настроения 60-х годов. Потому что материал совсем его не подсказывает). То, что мы знаем в настоящее время, одинаково мало располагает и к идеализации, и к романтическим восторгам. Беспристрастная наука, которая уже окончила работу над Наполеоном, приступает к работе над Александром.

<...> Александр и Наполеон были людьми, очень мало похожими один на другого. Между тем то, чем оба кончили, было почти одно и то же. Наговорив своим подданным кучу громких слов о свободе, они отдали их в жертву скорпионам деспотизма. Была, конечно, некоторая разница. Во Франции над режимом деспотизма сверкал

девиз «свобода, равенство, братство». В России его подпирал тяжелым и мрачным фундаментом крепостной строй. Тут он, был много прочнее, чем за Рейном, но если не политическая, то административная сущность деспотизма была в достаточной мере одинакова: Аракчеев и Фуше<sup>3</sup> друг друга стоили.

Как политические типы, Александр и Наполеон представляют собою две воли к деспотизму, непрерывно растущие и непрерывно сталкивавшиеся на арене европейских международных осложнений. Сначала французская давила на русскую, тогда русская становилась слабее, но вздувалась французская. В России делалось легче дышать, во Франции от конституции откалывались кусок за куском. Потом русская сокрушила французскую. Наполеон был спасен от беславия — заставить задохнуться Францию под пятою деспотизма. Александр испил до дна чашу этого беславия.

Между русским и французским деспотизмом различие было историческое. Процесс социального роста во Франции далеко перешел за ту полосу, которую переживала Россия. Великая революция окончательно разбила устои феодального порядка. Социальная культура, которую встретил Наполеон в тот момент, когда он взял в свои руки бразды правления, была буржуазная культура. Французская буржуазия вынесла вотум недоверия республике, ибо республика оказывалась неспособна оградить от внутренних и внешних покушений те завоевания, которые революция принесла буржуазии (считая тут и крестьянство). Восстания и ожесточенная борьба партий внутри, опасности нашествий извне подготовили почву для появления сильной власти. Наполеон стал этой сильной властью. Он воспользовался ею прежде всего для того, чтобы устранить анархию внутри и опасность извне. Потом он начал устраивать новый государственный порядок, такой, какой был нужен для буржуазии, начал расширять рынок для нее за пределами Франции, бить конкурентов французской буржуазии на арене европейского экономического соревнования, разбивать за границей Франции социальные окопы, преграждавшие крестьянству доступ к широким путям экономического процесса. Благодарная ему за все это французская буржуазия без труда поступалась частицами своей свободы. На этой психологии Наполеон строил здание своего деспотизма. И он понимал, что его деспотизм до тех пор не будет встречать серьезного противодействия, пока французская буржуазия будет довольна его внешней политикой, пока его внешняя политика будет продолжать приносить ей выгоды. Естественному росту этого процесса мешала феодальная Россия, и этот факт с необходимостью толкал Наполеона в русские снега.

В России, наоборот, социальные основания деспотизма были совсем иные. Господствующим классом было дворянство, державшее

при дворе и в бюрократии свои передовые отряды. Оно только что задушило царя, потому что в своих безумных метаниях царь коснулся и социальных привилегий дворянства, а дворяне увидели в этом безумии планомерность и систему. Теперь во всяком случае командующее сословие отнюдь не было расположено позволять молодому императору вернуться к политике отца. Всякая серьезная попытка на этом пути грозила повторением драмы в Михайловском дворце. Когда Александр принял континентальную систему, помещное дворянство пришло в ужас, потому что Англия была одной из главных покупательниц русского хлеба, а война с Англией означала блокаду всех торговых портов. Кроме того, континентальная система низвергла курс рубля почти на 50%. Оба этих обстоятельства особенно больно затрагивали интересы именно высшего слоя дворянства, которое проживало в Петербурге и тратило доходы свои либо в столице, либо за границей, т. е. придворного и чиновного дворянства. Это именно та часть господствующего сословия, которое делало политику, которое командовало армией, которое имело огромный опыт по части дворцовых переворотов. Сопrotивляться влиянию этого класса власть не могла; союз с Наполеоном должен был рушиться, союз с Англией должен был восстановиться. А после, когда Наполеон уже вторгся в Россию и стал вводить в Вильне, в Минске, в Смоленске и даже в Москве новые установления на основе гражданского равенства, когда он стал искать прокламации Пугачева, помещичья Русь востепенулась тем чувством, которое Растопчин и другие называли патриотизмом и которое было просто социальным страхом. Уступить *такому* противнику помещики не могли позволить царю. А вместе с помещиками офицерство, т. е. армия. Недаром тот же Растопчин грозил Александру смертью, если он заключит мир с Наполеоном. И, наоборот, для царя, который сумел сокрушить супостата, угрожавшего подорвать основу помещичьего благополучия, дворяне могли даже пожертвовать кое-чем. И, во всяком случае, они уже не станут роптать, если ежовые рукавицы деспотизма покрепче сдавят им шею. Следовательно, в России деспотизм мог держаться лишь до тех пор, пока он был дворянско-крепостническим, феодальным деспотизмом. Александр должен был понять это довольно хорошо в ту ночь, когда совершилось злое дело в Михайловском дворце, когда дворянская фронда определенно, если и не прямо, поставила ему свой ультиматум: будь дворянским царем, или ты не будешь царствовать вовсе. Правда, не сразу сделался он дворянским царем. Это положение слишком не вязалось с мечтами юности. Но в 1812 г., перед грозой, которая шла с запада, у него не оставалось другого выхода. Он уступил дворянству и отдал ему Сперанского. И мало-помалу, по мере того как у Александра пропадала

охота парадировать идеями революции, обнаруживалось, как глубоко проникся сам он классовыми убеждениями помещичьего дворянства. Его недоброе отношение к крестьянам поражало современников, которые то и дело заносили этого рода факты в свои воспоминания. Известен ответ императора кн. Репнину на его заявление, что он вынужден был освободить крестьян от дорожной повинности из-за неурожая: «Что они дома сосут, то могут сосать и на больших дорогах». Или негодование его по адресу Тормасова, который чересчур легко наказал дворового, рассуждавшего о крестьянской воле: «За столь буйственный и дерзновенный поступок следовало бы наказать наистрожайшим образом и публично». А история с военными поселениями? А кары на крестьян, осмелившихся воспользоваться высочайшим разрешением и подавать царю жалобы на помещиков?

Так, чувство личного и династического эгоизма заставляло обоих императоров напрягать силы деспотизма, а национальные условия делали французский деспотизм орудием воинствующей буржуазии, русский же щитом обороняющегося феодального дворянства.

<...> В этих исторических условиях даны основные мотивы деятельности как Наполеона, так и Александра. Но многие детали остаются неясными. Нам нужно поискать объяснения им в психологической организации того и другого. И именно для того, чтобы все эти рассуждения не показались слишком отвлеченными, мы посмотрим, с каким душевным багажом пришли оба императора к тому историческому перекрестку, где им оказалось невозможным разойтись без борьбы на жизнь и смерть.

Когда родился Александр, Державин написал оду о том, как гении к нему слетались в светлом облаке небес и дарили ему каждый по какой-нибудь, преимущественно героической, добродетели. В это время на диком острове под южным солнцем лазил по скалам и дрался со своими сверстниками другой «отрок», которому было восемь лет. У бабушки его не было придворных поэтов, и не порфирой была задрапирована его колыбель, но печать гения ярко горела на его челе и богиня славы распростерла над ним свои лучезарные крылья. Когда один вышел из-под придворной учебной ферулы, а другой из казенного военного училища, — то были совершенно различные люди.

Майор Масон, один из наставников Александра, набрасывает такой его портрет: «Александр — человек пассивных качеств и лишен энергии. Ему недостает смелости и доверия, чтобы искать достойного человека; приходится постоянно опасаться, чтобы влияния над ним не захватил кто-нибудь назойливый и развязный. Слишком поддаваясь чужим побуждениям, он не доверяет достаточно своему уму и своему сердцу. Чересчур ранний брак смял его энергию <...>, и, несмотря на счастливые

здатки, ему угрожает царство без славы или перспектива стать добычею придворных, если годы и опыт не придадут твердости его благородному характеру». Но нелепое екатерининское воспитание было не единственным элементом, разбивавшим волю Александра. Еще сильнее в этом направлении действовало его фальшивое положение между Царским и Гатчиной, между бабкой и отцом. Он находился в положении вечного колебания. Он никогда не мог отдаться целиком ни привязанностям, ни вкусам. Он должен был постоянно оглядываться по сторонам, чтобы не задеть по-солдатски грубой любви Павла, не показать неповиновения бархатно-ласковому деспотизму Екатерины. Положение было, несомненно, очень трудное. Быть может, другая натура, от природы упругая и сильная, выдержала бы этот тяжелый искус, вышла бы из него нравственно окрепшей. У Александра, когда кончилась пытка, воля была разрушена, создалась привычка всюду вокруг себя искать нравственной опоры. И влияние Лагарпа представляется нам сильным и плодотворным главным образом потому, что женеvский радикал имел дело с характером размягченным. Импульсивный и впечатлительный от природы, Александр вбирал в себя с голоса Лагарпа идеи Монтескье и Руссо. Но по существу это увлечение было неглубоко. Политические уроки Лагарпа не срослись с его душою. Держались они довольно долго, но на поверхности. Пришли другие, подчинили Александра своей воле, — и стерлись лагарповские отпечатки.

И еще одна особенность в характере Александра начала вырабатываться в пору воспитания. Положение его не было свободно от опасностей. С одной стороны опьяненная могуществом старуха, с другой — не совсем нормальный, не чаявший, как добратсья до власти, отец. Александр часто ощущал свое положение, как какую-то борьбу за существование. А борьба за существование вырабатывает в душе человека всегда одни и те же оружия. Если человек с сильной волей, в нем укрепляется энергия. Если воля у него слаба, в нем развивается притворство и неискренность. Необходимость «жить на два ума, держать две парадных физиономии» (Ключевский) между Царским и Гатчиной и положила начало неискренности Александра. О том же, впрочем, очень старался Салтыков, обучавший его секретам придворного *savoir vivre*. (Барон Штейн, который умел хорошо разгадывать и оценивать людей, такими словами рисует Александра в 1812 г. «Ему не хватает силы ума, чтобы настойчиво искать правду, твердости, чтобы осуществлять свои решения, несмотря на все препятствия, и сгибать волю несогласных. Его доброта вырождается в слабость, и он вынужден прибегать к хитрости и лукавству, чтобы приводить в исполнение свои намерения... Ему, быть может, вообще не хватает глубины чувства и способности к продолжительным привязанностям»).

Быть может, если бы не нелепости екатерининского воспитания и не водоворот придворной фальши, из Александра вышел бы монарх, действительно способный облагодетельствовать страну. Врожденное обаяние его внешности, огромное изящество и печать какой-то романтической меланхолии на прекрасном лице влекли к нему сердца. Он был умен. Но вдумчивые и наблюдательные люди с первого взгляда замечали, что в этом букете привлекательных свойств есть что-то неладное. «Он был, — говорит Э. М. Арндт<sup>4</sup>, — способен взяться за великое и благородное, но было в его природе что-то размягченное, что исключало силу воли и мужественную твердость». Болезнь воли и несчастная привычка держаться настороже портили все. В соединении с другими фактами, о которых будет сказано ниже, они сделали то, что итоги царствования Александра для России оказались в таком угнетающем несоответствии с ожиданиями дней Александровых прекрасного начала. Положительные качества Александра: и ум, и внешняя привлекательность, и все остальное — стали орудием личной политики, очень мало считавшейся с интересами России.

<...> Как волевой тип Наполеон — полная противоположность Александру. Он словно вылит из куска стали. Рожденный повелевать, он с детства разыгрывает вождя у себя на Корсике, в отроческие годы командует товарищами в Бриенне, выбравшись на простор жизни, бросается всюду, где есть надежда подняться вверх. Воля покоряет у него все. Он еще не знает сам, какие неисчерпаемые родники гения дремлют в его душе, он еще не предчувствует, что ожидает его в будущем, — но он уже знает или инстинктом — каким-то хищным, ястребиным инстинктом — чувствует, что ему нужно, чтобы выбраться на вершины. Ко всему, начиная со школьной учебы, он относится с разбором: отбрасывает как ненужную вещь всякую «словесность» и изучает вдесятеро больше, чем это требуется программами, точные науки, особенно математику. Усилиями воли он дисциплинирует в этом направлении свою голову, и до конца жизни его удивительная память, запоминающая без всякого труда целые колонны цифр, оказывается неспособной затвердить самое коротенькое стихотворение. Он воспитывает свое воображение не на произведениях искусства, а на живой природе, и в нем запечатлеваются, как в фотографическом аппарате, раз навсегда рельефы местности, виденной однажды хотя бы мельком. Он учится владеть собою и командовать своими настроениями, ибо знает, что это пригодится ему. Он постигает искусство властвовать над людьми. Он подчиняет себе свою физическую природу, спит по три часа, почти не ест, чтобы выкроить больше времени для работы. И так как ему в этом не мешает никто, так как он в тени, невиден человечеству, то мало-помалу в нем вырабатывается

тот чудесный юноша, который при первом появлении в Тулоне отодвинул в сторону и непосредственных, и высших своих начальников.

Детство и юность Александра прошли в том, что старались растрепать, что было в нем цельного. Наполеон собирал себя в одну глыбу, закаливал и готовил к жизни. Александр то страдал, то наслаждался. Наполеон работал и думал. Александр, обучаясь, на лету, хватал то, что ему казалось красивым и возвышенным. Наполеон брал только то, что могло быть полезно. В Александре воспитывали благородные мысли и чувствительное сердце. Наполеон ковал из себя практика. И когда они вступили в жизнь, Александр сейчас же стал путаться в противоречиях, правда красивых и возвышенных, а Наполеон — в Италии — начал так, что в нем сразу признали мастера своего дела старые боевые волки: Массена<sup>5</sup>, Ожеро<sup>6</sup>, Лагарп<sup>7</sup>. Ни Александру, ни Наполеону престол не достался без борьбы. И тот и другой облеклись в порфиру с помощью насилия <...>. Переворот, возведший на престол Александра, имел чисто дворцовый характер, в то время как переворот, совершенный Наполеоном, был настоящим *coup d'état*. И хотя Александр несколько раньше взял то, что принадлежало ему по праву, а Наполеон совершил узурпацию, в моральном отношении поступок Александра — гораздо более тяжелый, чем поступок Наполеона.

Тем не менее и насилие 1799 года и насилие 1801 года отплатили за себя. 18 брюмера сделало то, что от Наполеона требовался всегда успех. Раз порфира была наградой за то, что устранена анархия и опасность нашествия, как-то само собою стало подразумеваться, что при первой же неудаче страна откажет императору в своей поддержке. Это понимали все и лучше всех понимал сам Наполеон. Он говорил Меттерниху: «Ваши государи, рожденные на троне, могут позволить побить себя двадцать раз и потом спокойно возвратиться в свои столицы. Я этого не могу, потому что я — удачливый солдат (*un soldat parvenu*). Мое владычество кончится в тот день, когда я перестану быть сильным и следовательно страшным <...>». Сознание, что это именно так, постоянно толкало Наполеона на погоню за внешним успехом и при малейшей неудаче загоняло его в какой-то тупик. Ему начинало казаться, что Франция готова восстать, он терялся и делал ошибки <...>.

На Александра ответственность за событие 11 марта 1801 г. ложилась несколько по-другому. Существует мнение, что воспоминание о нем искалечило его душу. Едва ли это не преувеличено. Для Александра участие в заговоре против отца было одним из актов борьбы за существование, к которой он так привык. И он шел на него холодно и сознательно. Когда все было кончено, он успокоился довольно быстро. Отчаяние первого момента было вызвано тем, что смерть Павла была для Александра неожиданной. Он верил, что дело



обойдется без кровопролития и, узнав, что отец убит, испугался последствий преступления для себя <...>. Этим объясняется мрачное настроение первых дней, о котором поведал нам Чарторыйский. Когда обнаружилось, что народ более или менее поверил официальной версии о смерти Павла, Александр стал приходить в себя. Но призрак 11 марта действительно мучил его всю жизнь. Он совершенно искренне боялся, как бы воспоминания о перевороте не подняли духа у дворянской фронды. Нет ничего удивительного, что всякое напоминание о нем перевертывало его внутренне. Александр вздумал через русского посла выразить свое негодование французскому кабинету по поводу убийства герцога Энгиенского. Наполеон не остался в долгу. Он приказал Талейрану составить ответную ноту, где говорилось, что русское правительство напрасно негодует на происходящее в других странах, что в России убийство императора Павла, совершенное по проискам Англии, тоже осталось безнаказанным: никто из заговорщиков не понес кары. «Этот намек Наполеона, — говорит великий князь Николай Михайлович <...>, — никогда не был ему прощен, несмотря на все лобзания в Тильзите и Эрфурте». Другой любопытный факт рассказывает Марбо<sup>8</sup>. Когда Вандама<sup>9</sup>, сдавшегося под Кульмом, привели в русскую главную квартиру, великий князь Константин сам вырвал у него шпагу, а Александр начал кричать на него, называя его грабителем и разбойником. Это взорвало храброго солдата и он бросил в лицо Александру при всем штабе: «Я не разбойник и не грабитель, и во всяком случае современники и история не упрекнут меня в том, что мои руки обгажены в крови моего отца!» Александр, страшно смущенный, сейчас же вышел из комнаты. Появление окровавленной тени Павла всегда могло быть опасным Александру, как дурной пример для окружающих. Но с тех пор как он почувствовал, что положение его на престоле не скомпрометировано событием 11 марта, он едва ли печалился о нем больше, чем Наполеон о 18 брюмера. На характере его оно отозвалось тем, что усилило в нем недоверчивость, скрытность, неискренность. В этом отношении смерть Павла наложила более глубокий отпечаток на Александра, чем сокрушение республики на Наполеона: Александр был много моложе в 1801 году, чем Наполеон в 1799 г.

<...> Когда Александр переработал в себе трагедию, сопровождавшую его воцарение, он уже был вполне сложившимся человеком. Все свойства его души психологически были даны в условиях его жизни, которые мы рассмотрели. У него было слабо то, что делает человека ярким и сильным. В его поступках не было логики, которая всегда проникает собою поступки цельного человека. Он был полон неожиданностей и никогда сам не знал, во что выльется у него тот

или иной замысел, то или другое настроение. Он способен был загораться и сейчас же потухнуть; отдать приказание и сердиться, что его исполнили; вызвать человека на дуэль и потом забыть об этом (случай с Меттернихом в 1814 г.)<sup>10</sup>; с Венского конгресса, этой кухни европейской реакции, — рассылать своим дипломатам инструкции, написанные языком Бенжамена Констана<sup>11</sup> и наполненные конституционными идеями. Наполеон отлично подметил эту его особенность и так метко охарактеризовал ее, что Меттерних нашел эту характеристику наиболее правильной из всех. «Наряду с его крупными умственными качествами, — говорил Наполеон, — наряду с умением пленять окружающих, есть в нем нечто такое, что я затрудняюсь определить. Это — что-то неуловимое (*un je ne sais quoi*), и я могу объяснить его, лишь сказав, что во всем и всегда ему чего-то не хватает. И самое замечательное то, что никогда нельзя предвидеть, чего ему будет не хватать в каждом данном случае, при каком-нибудь определенном обстоятельстве. Ибо то, что ему не хватает, меняется до бесконечности».

Недостаток этого *je ne sais quoi* прежде всего приводил к тому, что Александр был жертвой постоянных колебаний, не покидавшей его нерешительности. Таким он был всю жизнь, не исключая и того момента, когда в нем вспыхнул, казалось, порыв: двенадцатого года. Его твердость в сопротивлении Наполеону была отраженная твердость. Ее вдохнули ему две женщины, любившие его больше жизни: императрица Елизавета Алексеевна и великая княгиня Екатерина Павловна. А поддержал ее страх перед преторианской революцией: ибо армия была против мира. И не без колебаний удержался Александр на решении: драться с Наполеоном, «пока ни одного неприятельского солдата не останется в пределах России». Во время пребывания французов в Москве, по-видимому, все-таки были какие-то переговоры. И потом у нас имеется единогласное свидетельство двух таких близких к Александру в то время людей, как императрица Елизавета Алексеевна и бар. Штейн. Оба они утверждают, что Александр не мог бы заключить мира, если бы даже хотел. Военная партия была могущественна. Борьба с Наполеоном, вообще занимающая огромное место в душевной жизни Александра, обострила и его неискренность. Она развивалась в нем все больше и больше, пока не сделалась господствующей чертой его характера. Он скрытничал, лицедействовал, лицемерил всю жизнь со всеми, не исключая самых близких. Люди, которые хорошо его знают, боятся ему довериться. Это отметил Наполеон, назвавший его византийцем. Это знали все дипломаты, которым приходилось иметь с ним дело: швед Лагербельке<sup>12</sup> сказал, что Александр «фальшив, как пена морская»; Вильгельм Гумбольдт<sup>13</sup> говорил на Венском конгрессе:

«Русский император фальшив и капризен; с ним приходится быть очень осторожным». Гарденберг писал Гнейзенау<sup>14</sup>, что у Александра — «властолюбие и коварство под плащом любви к людям и благородного либерального настроения». Это отлично знали в его семье: знала несчастная Елизавета Алексеевна, знала Мария Федоровна <...>. По-видимому, только одну Екатерину Павловну Александр не обманывал насчет своих чувств. Ее он любил «любовью брата, а может быть, еще нежней» <...>, верил ей и охотно подчинялся ее влиянию. Со всеми остальными Александр играл постоянную комедию. Даже с Аракчеевым, которого он осыпал ласковыми словами, называя его мерзавцем в письмах к верным людям. Аракчеев был нужен ему, с одной стороны, как «пугало пострашнее», а с другой — как громоотвод против ненависти, скопившейся в обществе вследствие экспериментов с военными поселениями и других реакционно-репрессивных затей <...>. Вполне гармонировало с основными свойствами души Александра и то, что можно было бы назвать беспорывностью духа. Он был лишен и характера и настоящего темперамента. Он не был натурой творческой. Выдумка туго вынашивалась у него. Не умели загораться огни поэзии в его скудной душе <...>. Правда, он поднимался порою на крупные дерзания. Но поднимали его не идейные порывы и не тот неудержимый внутренний вихрь, который двигает героями. Ибо меньше всего Александр был героем.

Вспомним, чем был Александр как воин. С молодых лет уныло тосковал он по боевой славе и в конце концов как будто добился, что скептическая Европа признала за ним военный талант. Но сколько было терний и шипов в погоне Александра за лаврами полководца. Настоящего военного таланта в нем не было. Сам он, однако, вовсе не был убежден в этом и попробовал обнаружить свои способности при Аустерлице. Опыт кончился печально. В 1812 году Александр тем не менее возобновил его, и опять крайне неудачно. Но когда Наполеон бежал из России, Александр приехал в Вильну и снова стал во главе армии. Тут его вскоре подхватила волна прусского национального энтузиазма, и на гребне ее Александр впервые увидел улыбку богини победы. Фактически победы одерживали другие: Шварценберг, Блюхер, Моро<sup>15</sup>, Бернадот<sup>16</sup>. Александр хлопотал, добросовестно высиживал на военных советах, сам писал карандашом протоколы, словом, делал вид, что «ремесло» полководца очень тяжело <...>. Когда союзники переступили Рейн с войском чуть не вдесятеро сильнее, чем у Наполеона, Александр решился однажды подышать воздухом бранного поля. Это было в 1814 г. при Фершампенуазе, когда несколько французских каре геройски выдерживали артиллерийский огонь и кавалерийские атаки русской армии. И вот что

там произошло: «Государь, видя два каре неприятельской пехоты и 100 человек кирасир, остановившихся на месте и колеблющихся, не зная, что им делать, приказал своему конвою из 100 черноморских казаков и 100 гвардейских донских казаков атаковать каре. Казаки бросились, и находившиеся при государе более сотни разных офицеров, смотря на казаков, также поскакали вперед; в числе офицеров и государь по правую сторону поскакал вперед, скача самым маленьким галопом почти на месте, и осматривался назад, чтобы кто ни есть его удержал от сей чрезмерной храбрости. В то же время один штаб-офицер, ехавший немного сзади его, удержал за руку, сказав: “Государь, твоя жизнь дорога и нужна”. Государь поворотил скоро лошадь назад и скорее отъехал на прежнее место, нежели вперед подавал» <...>.

В боевом огне Александр, словом, чувствовал себя не очень хорошо. Зато в мирной обстановке плац-парадов он без труда мог соперничать с Наполеоном. Любовь к фронтным занятиям, глубокое убеждение в необходимости муштры сидело в нем так крепко, как ничто. Тут, вероятно, сказывались и влияние гатчинских впечатлений юности, и тоска по военной славе невоенного человека, и упрямое желание всем показать, что он любит и понимает военное дело. Требовательность к тонкостям шагистики и фронтной выправки превращалась у Александра в чисто павловскую большую страсть. С одной, впрочем, разницей. Линейная тактика Фридриха II, царившая при Павле, делала и муштру и выправку необходимыми. На этом строилось все. При Александре, особенно в конце его царствования, когда муштра стала достигать размеров гомерических, линейная тактика давно успела отойти в область преданий, и наполеоновские «ворчуны», недостижимый образец дисциплинированных солдат, забыли о том, что такое гатчинская муштра. Александр между тем упорно продолжал требовать шага в один аршин, и 75 таких шагов в минуту, а скорым по 120, и опускания носков, и соблюдения «каденсу», и всего остального. Это походило не на Наполеона, а скорее, на Петра III, который добывал себе военную славу способом еще более легким: на своем столе и с деревянными солдатиками.

Душевные силы Александра охотно устремлялись на мелкое. В этом он был похож на Наполеона. Но он не был способен от мелкого подняться к великому, ибо для этого нужны были крылья гения. У Наполеона это делалось само собою. Александр не умел отдаться целиком, без оглядки, какому-нибудь чувству. Не было такой идеи, не было такого ощущения, которые владели бы Александром когда-нибудь всецело. Он все взвешивал, все рассчитывал. Даже мистицизм последних лет царствования служил у него определенной цели. Он закрывал от глаз недалекновидных людей его политические цели.

Мистицизм для него был не ключ к пониманию мира, не целостное жизненное мирозерцание, как для Жозефа де Местра или Адама Мюллера, а политическое орудие, как для Генца, Ансильона<sup>17</sup>, Меттерниха. Представить поражение Наполеона как «суд Божий» было очень выгодно, ибо в этом случае все обязательства погашались непосредственным расчетом между властью и Божеством, и следовательно, другие обязательства власти, земные, данные подданным, можно было считать ликвидированными. А сколько таких обязательств давала народам легитимная власть в России, Австрии, Пруссии, когда над нею тяготел могучий кулак Наполеона, когда ей грозила гибель без содействия народов. Если Александр не говорил громко, подобно Меттерниху, что Священный союз — “un rien sonore” («шумное ничтожество»), то только потому, что то было его собственное детище; практическую политическую ценность этого орудия в делах внутренних он понимал не хуже австрийского канцлера. А г-жа Крюденер и вся прочая декорация мистицизма служили у него лишь для отвода глаз. Когда они становились неудобны, Крюденер высылали из Петербурга и Александр равнодушно смотрел на то, как Фотий<sup>18</sup> с митрополитом Серафимом валили на его глазах А. Н. Голицына.

<...> Каковы же были побудительные причины тех крупных деяний Александра, которые вывели его на простор мировой истории и создали ему такую громкую славу? «Характер Александра, — сказал Меттерних, — представлял странную смесь качеств мужа и слабостей женщины». «Если бы Александра одеть в женское платье, — говорил французский дипломат Лафероне, — то была бы тонкая женщина». Это подмечено правильно. Александр уже потому был женственной натурой, что у него не было главного «качества мужа», крепкой воли. И все особенности его характера имели то общее, что в них, как говорил Наполеон, «чего-то не хватало» для того, чтобы быть «качествами мужа». Оттого они все походили больше на «недостатки женщины». Вместо упорного характера, у Александра было самолюбие, вместо воли — упрямство, вместо честолюбия — тщеславие и зависть. Как большинство властителей, он любил лесть, помнил зло и обиды. Уже при самом вступлении на престол люди проницательные, по словам ген. Тучкова, угадывали в нем «дух неограниченного самовластия, мщения, злопамятности, недоверчивости, непостоянства в обещаниях и обманов». Как у всех некрупных людей, у Александра было особого рода самолюбие, какое-то беспокойное, насторожившееся. Его задевал всякий пустяк. Ему наносила раны всякая обида, и нелегко заживали эти раны. Наполеону он не прощал пренебрежительного мнения о себе. Его мучила мысль, что в Европе его не хотят признать крупным человеком. После вступления союзных войск в Париж в 1814 г. он

сказал Ермолову: «Двенадцать лет меня считали посредственностью в Европе. Посмотрим, что скажут теперь». Так радуется только человек, «нечаянно пригретый славой». Разве можно представить себе такую фразу в устах Наполеона? Все главные факты царствования Александра были следствием именно этих женских качеств его души. Колоссальный поединок двух политических культур — соперничество между Россией и Францией — в душе Александра принимал вид и форму личного соревнования с Наполеоном. И это настроение не покидало его до конца, зародившись во времена Аустерлица. Даже Тильзит не был перерывом, хотя Александр всячески делал вид, что он покорен величием своего союзника. Он и тут играл роль, и тут носил личину. Уже 26 мая 1807 года он пишет сестре: “Bonaparte prétend qui je ne suis qu’un sot. *Rira le mieux, qui rira le dernier*”. («Бонапарт утверждает, что я всего лишь глупец. Хорошо смеется тот, кто смеется последним»). Последняя фраза подчеркнута, и в ней слышится глухая ненависть. Если бы сохранились письма времени эрфуртского свидания, мы, вероятно, нашли бы и там что-нибудь подобное. В 1812 году, как мы увидим, Александр колебался очень сильно и в значительной мере под внешними влияниями решился не идти на мир. Но в 1813 и в 1814 году, когда опасность для России миновала, он был самым непримиримым из противников Наполеона; ему нужен был не столько мир с Францией, не столько восстановление политического равновесия в Европе, сколько низвержение личного врага. Как ни доказывал ему Кутузов, своим трезвым умом великолепно оценивший политическое положение, что нет никакой необходимости лить из-за немцев русскую кровь, Александр решил перенести войну за Неман. Прусские патриоты с бароном Штейном во главе, которым необходим был новый поход против Наполеона, подсказали Александру очень удобный лозунг: «Освобождение Европы», — который, казалось, оживлял его юношеское преклонение перед идеей «человечества». Дело было, конечно, не в этом романтическом настроении, которое давно перестало быть искренним, а в том, что Александру нужно было полное унижение Наполеона, реванш за Аустерлиц, за Москву. И наоборот, на Венском конгрессе он чуть не довел дело до войны, когда Англия, Австрия и Франция отказались позволить Пруссии проглотить Саксонию: Александр заранее обещал этот лакомый кусок своему другу Фридриху Вильгельму. Нужно было сдержать обещание; дело шло о его самолюбии. А как быстро изменилось его отношение к Бурбонам! После Фонтенебло<sup>19</sup> он был одним из самых горячих сторонников их восстановления. На Венском конгрессе он уже относился к ним холодно и совсем не был расположен возвращать престол вторично Людовику XVIII. Он одно время не хотел даже участвовать

в коалиции 1815 г. Дело было в том, что Людовик не оказал ему тех знаков почета и признательности, на которые Александр считал себя вправе рассчитывать. И Александр обиделся: было задето самолюбие. А история с военными поселениями? Когда бунт стал принимать угрожающие размеры и даже Аракчеев начал склоняться к тому, чтобы покончить с этой жестокой затеей, Александр упрямо стоял на своем: «Поселения будут, хотя бы пришлось уложить трупами всю дорогу от Петербурга до Чудова». Для него лично эти бунты не представляли опасности, и можно было, не опасаясь ничего, сделать один из тех наполеоновских жестов, которые он так любил и которые вообще так плохо ему удавались. Но в одном отношении качества «тонкой женщины» оказали огромную услугу Александру. Они сделали его превосходным дипломатом. В этой борьбе, арена которой — салоны и залы заседаний, оружие которой — хитрость, притворство и умение скрывать правду, Александр чувствовал себя вполне в своей стихии. Тут он был определенной величиной. А. А. Кизеветтер говорит, что Александр был прирожденным дипломатом, как Наполеон был прирожденным полководцем. Но не нужно забывать, что крупной величиной в мире дипломатии Александра сделали качества «тонкой женщины». Руководящие идеи его дипломатической деятельности часто противоречили интересам России, ибо отвечали либо интересам русского дворянства, либо его личным чувствам и побуждениям. Но раз поставив себе дипломатическую цель, Александр шел к ней неуклонно, достигал ее комбинациями, необыкновенно искусными и целесообразными. Так было, например, в 1812 году, когда Александр блистательно провел переговоры с Бернадотом и привлек на свою сторону Швецию; так было в 1813 году, когда он так неподражаемо легко осуществил коалицию против Наполеона; так было позже, во времена Священного союза, когда сам Меттерних едва не сделался подголоском Александра.

<...> Когда от душевного мира Александра вы обращаетесь к душевному миру Наполеона, вы словно попадаете из северной степи прямо в тропический лес. Настолько там все скудно. Настолько здесь — все сверкает, все пышно, все ослепительно. Самое поразительное в Наполеоне, что огромные умственные силы соединяются у него с целым рядом других качеств, каждого из которых было бы достаточно, чтобы создать замечательного человека: железной волей, все одолевавшей энергией, несокрушимой работоспособностью, кипучим, как лава, темпераментом, фантазией, полету которой нет границ, каким-то вдохновенным умением разгадывать и покорять людей. Никакое дело не представлялось ему трудным, ни одна задача не казалась неразрешимой, потому что в душе его били неиссякаемые

ключи творческих сил. Он познал великое искусство предвидения и в нем почти не знал промахов, ибо не только рассчитывал каждый свой шаг и взвешивал каждое свое намерение: в тайны будущего он посылал разведчицей свою светлую мысль на крыльях своего удивительно дисциплинированного воображения. Гений заменял ему все: недостаток знаний, вопиющую неподготовленность, отсутствие такта. Он все скрашивал, все расцвечивал. Привыкнув к тому, что его расчеты сбываются, Наполеон уверовал в свою звезду и, когда в этих расчетах оказывалась ошибка, он готов был скорее видеть в этом бунт со стороны судьбы, чем согласиться признать себя неправым. В этом отношении Наполеона совершенно бесцельно сравнивать с Александром. Это два разные калибра. Один — гигант, которому трудно найти параллель в истории, другой — человек, едва возвышающийся над средним уровнем. Александр сам отлично сознавал превосходство Наполеона. Он не только демонстрировал это в Эрфурте, в театре, когда он поднялся, чтобы пожать руку Наполеона, услыша со сцены стих *“L’amitié d’un grand homme est un bienfait des dieux”* («Дружба великого человека это милость Божья»). Он откровенно признал это в письме к сестре.

Тем не менее сопоставление того и другого представляет в некоторых отношениях большой интерес. Как нравственные величины они так же далеки друг от друга, как и умственные. Но то и любопытно, что, в конце концов, на важнейшем из путей в жизни монарха, на политическом, — они неожиданно оказываются рядом. У Александра атрофия воли, у Наполеона — воля гипертрофирована. Насколько один готов подчиниться более сильному, как только успокоено его «кроткое упрямство», настолько другой хочет покорить своей воле, согнуть, сломить перед ней все окружающее. И он умеет этого добиться. В конце концов, эта воля сокрушилась только перед стихиями: народной стихией и стихией природы. А Александр — дипломат-искусник — в решительный момент сумел оказаться под прикрытием этих стихий. Но при сопоставлении двух императоров особенно бросается в глаза не это несходство, а другое. Александр — человек без темперамента. У Наполеона он бьет через край. Клокочущим темпераментом у одного, безтемпераментностью у другого окрашена вся жизнь. Оба они актеры. Оба притворяются — и не могут не притворяться — беспрестанно. Но какая разница! Александру всего больше удается роль «прельстителя», в то время как Наполеон особенно хорош в ролях Юпитера-Громовержца. Он был способен разыграть целую бурю, приводившую всех в трепет, и сейчас же обратиться к кому-нибудь из близких: «Вы думаете, что я был очень сердит... Успокойтесь, у меня гнев никогда не идет дальше этого». И он показывал шею. Наоборот, Наполеону далеко не всегда удавалось разыграть прельсти-



теля, даже когда он хотел: слишком чувствовались под лаской когти тигра. Еще меньше удавались Александру позы и тон громовержца. На Венском конгрессе он пробовал запугать дипломатов грозными окриками à la Наполеон. Но Кэстльри и Талейран не давали обмануть себя. Темперамент был не тот. И еще была разница. Наполеон почти всегда импровизировал свои актерские выступления. Александру приходилось готовиться к своим. Он даже в церковь забирался спозаранку, чтобы сделать там «репетицию церковного служения». Но из двух актеров Наполеон чаще бывал искренним в жизни, чем Александр. То же различие в темпераменте сказывалось в отношении к женщинам. Один действует как солдат, другой как дипломат. В Александре тут было, несомненно, что-то рыцарственное. Он сам вкладывал в отношения к женщинам большую долю увлечения. Наполеон, после того как Жозефина растоптала его любовь, не увлекался серьезно никем. И рыцарем с женщинами он не был совсем. Женщины боялись его, удивлялись ему, но — кроме, по-видимому, Валевской<sup>20</sup> — его не любили. Быть может потому, что он совсем не умел обращаться с женщинами. Он был либо груб, либо скучен. Он был способен в большом дамском обществе, в Сен-Клу, двадцать раз повторить немудреную фразу: “Il fait chaud!” («Жарко!») Александр был кумиром женщин. Прекрасный собою, обаятельный в обращении, отлично играющий роль «прельстителя», он не мог не покорять сердца. С гордостью <...> — и на этот раз вполне законной — он говорил, что этим успехом он обязан не тому, что он был императором. И он был прав: он был обязан им по крайней мере не только своей короне. Но самый процесс «прельщения» занимал Александра больше, чем результат победы. «Кокетка!» — говорила про него королева Гортензия, знавшая его с этой стороны довольно хорошо <...>. Вообще темперамента было мало в его многочисленных романах. Он очень любил свою *petite famille*, М. А. Нарышкину и ее детей, и утилизировал свой успех гораздо реже, чем можно думать. Он шел до конца, когда это ему было нужно по дипломатическим соображениям. Таков был, например, его роман с княгиней Е. П. Багратион в Вене во время конгресса <...>. Но это был случай довольно исключительный. Более типичен следующий эпизод. Во время своего пребывания в Лондоне в 1814 году он перед отъездом пригласил к себе к 1 часу ночи одну из придворных красавиц, леди Джерси. Дама приготовилась ко всему и поехала с убеждением, что будет «крайне невежливо» отказать царственному поклоннику, как бы далеко ни зашли его требования. Но Александр предусмотрительно велел разбудить сестру, в. к. Екатерину Павловну, и ограничился только тем, что попросил разрешения поцеловать руку своей гостьи выше локтя. Сопоставьте с этим хотя бы такой случай,

рассказанный про Наполеона Бурьеном. В Египте ему понравилась жена одного из офицеров. Он приблизил его к себе, стал принимать его с женою, потом отправил его в Европу. А даму однажды за обедом посадил рядом с собой и как будто нечаянно столкнул её на платье графин с водою. Стал извиняться и увел к себе в комнату, чтобы «привести в порядок». Публика терпеливо ждала... Его вообще очень мало заботило, имеет он успех или нет. Он брал женщину, как его гренадеры брали неприятельский редут. Ухаживания Александра, наоборот, состояли нередко из чисто дипломатических хитростей. Наполеон передает с тонким юмором историю тильзитского флирта Александра 1807 года. Фридрих Вильгельм, рискуя остаться совсем без владений, старался, чтобы королева Луиза приехала в Тильзит как можно позже: он ревновал свою прекрасную супругу «к одной высокой особе». В конце концов, она приехала и провела там два дня, захватив конец переговоров. Когда все было кончено, пункты договора установлены, король попросил у Наполеона прощальной аудиенции. Александр, узнав об этом, «с таинственным видом» стал просить Наполеона отсрочить эту аудиенцию на сутки. Тот «дружбы ради» сделал ему это удовольствие. Наполеон в таких случаях обходился без чужой помощи. Известен рассказ, переданный десятками современников, как он встретил в Компьене свою невесту Марию Луизу<sup>21</sup> и как удивил ее, воспитанницу самого чопорного европейского двора, этой встречей. Шатобриан считал поступок Наполеона, насмеявшегося над церковными обрядами, чуть не главной причиной его крушения. Так разница в темпераментах сказывалась в мелочах. Но она сказывалась и в крупном. Различные темпераменты различно окрашивают и господствующую особенность нравственной фигуры обоих: эгоизм. Эгоизм у них разный, но замечательно то, что последствия эгоизма у того и у другого нечувствительно их сближают.

<...> Я Александра — я «тонкой женщины», я, складывающееся из всякого рода мелких побуждений, но в сумме цепкое и по-своему упорное. Я Наполеона совсем иного рода. Вот как рисует его своим пышным пером Тэн: «Это эгоизм не инертный, но деятельный и наступательный, соответствующий деятельности и широте его способностей, развитый воспитанием и обстоятельствами, доведенный успехом и всемогуществом до того, что он стал каким-то чудовищем, воздвиг среди человеческого общества колоссальное я, которое все дальше и дальше протягивает вокруг себя хищные и цепкие когти; его раздражает всякое сопротивление, его стесняет всякая независимость; в безграничном уделе, который он себе захватил, он не терпит никакой жизни, если только она не придаток и не орудие его собственной». Тэн не любит Наполеона, не понимает его и несправедлив к нему. И в этой тираде

все, конечно, преувеличено. Но общая тенденция нравственного духа Наполеона указана верно. Эгоизм, когда он на престоле, неизбежно приобретает политический характер и становится почти с необходимостью деспотизмом, если не встречается к этому препятствий. И совершенно безразлично, какого рода эгоизм лежит в источнике деспотизма: бурный, откровенный, «наступательный» или осторожный, идущий мелкими шажками и беспрестанно оглядывающийся по сторонам. Страна, над которой деспотизм продельывает свои эксперименты, страдает одинаково и от одного, и от другого. Ибо в конце концов из различных предпосылок личной морали, из различных темпераментов складывается очень однородный политический результат.

Эгоизм вырабатывает недоверие, презрение и ненависть к людям, подозрительность, завистливость. Когда все это вместе покрыто горностаевой мантией и увенчано короной, подданные не бывают счастливы. И если исключить медовые дни Неофициального комитета в России и первые два-три года консульства во Франции, оба соперника довольно быстро проделали эту неизбежную эволюцию. Сопоставим несколько свидетельств современников. Во время высылки Сперанского Александр сказал де Санглену: «Я решительно никому не верю. Люди — мерзавцы». «Наполеон не верил ни в добродетель, ни в честность. Он часто называл эти два слова абстракциями». Он сказал однажды генералу Дюма: «Не отличаетесь же вы от других людей; личная выгода у всех на первом плане». А Бурьен передал потомству еще одно его изречение: «Два рычага двигают людьми: страх и выгода». Раз к людям относятся с таким презрением, ясно, что даровитых людей будут всегда бояться: если все люди «мерзавцы», то даровитый мерзавец, конечно, опасен. Раз всеми двигают страх и выгода, — у даровитого человека чувство выгоды может не остановиться у подножья трона. И вот результаты: Кочубей говорит Сперанскому: «Иные заключают, что государь именно не хочет иметь людей с дарованиями». Шапталъ пишет про Наполеона: «Считая себя достаточно сильным, чтобы управлять самому, он заботливо устранял всех, талант или характер которых казались ему неудобными. Ему нужны были слуги, а не советники». И факты подтверждают эти слова. Александр удаляет Сперанского и не доверяет Кутузову, Наполеон оттирает Массену и отправляет в изгнание Моро, главная вина которого заключалась в том, что он даровитый человек. Нет ничего удивительного, что, оставшись с людьми второго и третьего сорта, оба презирают самых близких своих людей. Александр говорил однажды королю прусскому, что оба они «окружены негодьями», что он своих «многих хотел прогнать, но на их место являлись бы такие же». Наполеон говорил про Савари, своего самого доверенного человека, что его нужно беспрестанно под-

купать. Даже про генералов, которыми он дорожил бесконечно выше гражданских должностных лиц, он как-то сказал, что «дает славу только тем, кто не умеет ее носить». Стендаль находил даже, что одна из двух главных причин крушения Наполеона заключалась в том, что со времени коронации он окружал себя ничтожествами.

Вполне логично после этого, что народ это — *canaille*, как часто выражается Наполеон про французов даже на св. Елене, или — как Александр характеризует русских — «каждый из них либо плут, либо дурак». А таким людям, конечно, нельзя давать ни малейшей свободы. Наполеон говорит Меттерниху в 1812 г.: «Франция меньше приспособлена для форм представительства, чем другие страны» и хвалится, что «надел намордник» на Законодательный Корпус. Александр говорит, в свою очередь, Лафероне: «Я люблю конституционные учреждения и думаю, что всякий порядочный человек должен любить их; но можно ли вводить их безразлично у всех народов? Не все народы готовы в равной степени к их принятию». Когда Наполеону стало казаться, что в Трибунате<sup>22</sup> занимаются революцией, он попросту прекратил его заседания. Когда наш сенат воспользовался высочайше дарованным ему правом делать представления государю о несоответствии тех или иных указов другим узаконениям, Александр так прикрикнул на бедных сенаторов, что они и не рады были своей затее.

У Александра не было даже горячей любви к родине, которая так часто делает чудеса с людьми слабой воли. Многим из современников бросалась в глаза какая-то активная нелюбовь к России. Записки И. Д. Якушкина и других декабристов изобилуют указаниями этого рода. И Наполеон любил Францию больше для себя. Когда Меттерних осторожно предостерегал его насчет того, что у Франции может не хватить людей для бесконечных гекатомб его честолюбия, Наполеон воскликнул: «Вы не солдат и вы не понимаете души солдата. Я вырос на поле сражения, и для такого человека, как я, жизнь миллиона людей — совершенный пустяк». Нарбону, который говорил ему на ту же тему, Наполеон сказал: «В конце концов, чего мне стоило все это (поход в Россию): трехсот тысяч человек! Да еще среди них было много немцев». Но, в конце концов, эгоизм каждого, поскольку он проявляется по отношению к родной стране, глубоко различен. Александр боится России, боится крестьян, боится дворян, боится армии. У Наполеона нет страха. Его социальная политика такова, что и буржуазия и крестьянство ему преданы, и если извне все благополучно, ему опасаться нечего.

Повторяем, счастье Наполеона перед лицом истории — в том, что ему не довелось привести к логическому концу махинации деспотизма. Это дало ему возможность на св. Елене защищаться от обвинений с до-

вольно большой на первый взгляд убедительностью. Александру никто не мешал, и свой деспотизм он довел до его последних логических пределов. То же было и со зданием международного строительства Наполеона. Оно рушилось, и на его месте воздвиглась сентиментально-ханжеская охранительная храмина Священного союза. В эпоху конгрессов, когда перепуганные революцией и Наполеоном легитимные монархи уж без всяких помех свирепствовали против всяких свобод и против людей, поднимающихся во имя свободы, Александр под конец шел впереди Меттерниха. На Веронском конгрессе 1822 г. он был самым пылким сторонником вмешательства в испанские дела (в Испании была революция), а в борьбе греков против турок холодно усмотрел один лишь «революционный признак времени». Ему, русскому царю, важно было, чтобы и в Испании все было мертво и спокойно, как в Чудове, как в Грузии. Наполеону такая метафизика деспотизма была всегда глубоко непонятна. Он был практик, и заботился только о том, чтобы деспотизм не встречал противодействия во Франции. Остальное его мало интересовало.

<...> Не удивительно, что впечатление, которое оба императора производили на окружающих, было глубоко различное. Александр вызывал восторги своей добротой, своею приветливостью. «Наш ангел!» Он знал, что в этом наиболее сильная его сторона и, как хороший актер, старался всегда показать больше доброты, больше приветливости, чем было в нем на самом деле. Граф Делагард<sup>23</sup>, оставивший нам бесподобную анекдотическую историю Венского конгресса, полную коллекцию сплетен, анекдотов, острот, — часто рисует Александра за этим занятием. То царь соскакивает с лошади, чтобы помочь императору Францу выйти из коляски, и вызывает рукоплескания толпы, то мистифицирует русского моряка, приехавшего в Вену с депешами, то подчеркивает свою дружбу к Евгению Богарне<sup>24</sup>, всеми покинутому, и демонстративно не расстается с ним на прогулках <...>, то столь же демонстративно поощряет составляющие притчу во языцех в Вене холодные, политические ухаживания кронпринца Вюртембергского за великой княгиней Екатериной Павловной. И слетевшаяся в Вену жадная до сплетен международная великосветская толпа, где каждая герцогиня была немного кокеткой, где совесть любого дипломата можно было купить за то или иное количество золота, где сыщики вертелись в раздушенных будуарах, а сутенеры получали жалование от полиции, — эта толпа провозглашала Александра своим героем, и он гордился окружающим его преклонением.

Правда, приветливость, ласковость и доброту Александра отметили и такие люди, которых трудно было провести притворством: Штейн, Арндт, даже Наполеон. Но доброта Александра было больше

внешняя, показная. Там, где не приходилось рисоваться, ему ничего не стоило разбить жизнь, разбить сердце даже людям, его любящим. Он превратил в сплошную муку жизнь своей несчастной жены, императрицы Елизаветы Алексеевны, которой он стольким был обязан в тяжелые дни воцарения. В последний период жизни он даже перестал рисоваться добротой. Мучительства в военных поселениях, суровый приговор по делу семеновцев, постоянные дисциплинарные наказания в армии, благодаря которой он удержался на престоле, — все это делалось с ведома, иногда с поощрения Александра. «Что касается личности Александра Павловича, как человека и простого смертного, — говорит великий князь Николай Михайлович, — то вряд ли облик его, так сильно очаровывавший современников, через сто лет беспристрастный исследователь признает столь же обаятельным». Наполеон был лишен врожденного дара очаровывать окружающих. Когда ему это было нужно, он старался, и это удавалось. Выручал опять гений. Но все-таки это выходило у него далеко не так просто и так естественно, как у Александра. Зато у него было другое. Умственная сила и вера в себя были в нем так велики, излучались так приметно, что всякий, приближавшийся к нему, подпадал под его власть, чувствовал какую-то подавленность его величием. Даже самые предубежденные люди не были в состоянии стряхнуть с себя внушаемого им чувства удивления и преклонения. Фридрих Вильгельм III, его заклятый враг, в дни своей тильзитской голгофы, уже не питающий никаких обольщений насчет ожидавшей его участи, — в письме к жене, ненависть которой к Наполеону ему хорошо известна, — не может сдержать крика восхищения. Рассказывая о том, как при встречах Наполеон все расспрашивал Александра насчет России и высказывал мнения о слышанном, король прибавляет: «Все, что он говорил по этому поводу, было очень умно и интересно. Вообще, какая это дивно организованная голова! Если бы — я это говорил очень часто — он захотел употребить свои силы на добро! С его способностями он мог бы быть благодетелем рода человеческого, а не бичем его, как до сих пор».

Люди могут питать к нему какую угодно ненависть. Это ничего не меняет. Вера в его гений такова, что она и только она определяет действия. В «Дневниках» Генца имеется подробный рассказ о том, как в 1809 года австрийская главная квартира, ютившаяся в одном маленьком местечке в Венгрии, воспринимала вести о ходе мирных переговоров. Получается такое впечатление, что в Вене сидит какой-то сказочный дракон, вперивший глаза в эту несчастную, беспомощную кучку людей, управляющих целой страной, и его взор постепенно выедаёт в них мужество и вдыхает страх. Все комбинации, самые гениальные, в конце концов, как в железный тупик, упираются в не-

отвратимое, жестокое соображение: «но ведь то Бонапарт!» И, в конце концов, заключают позорный мир в полном убеждении, что добились необыкновенно выгодных условий.

В несколько меньших размерах то же происходит в ближайшем окружении его. Никто не скажет теперь, что маршалы и министры любили Наполеона настоящей любовью. Но все они преклонялись перед ним и верили в его силы. А солдаты! Достаточно пробежать несколько книг бесхитростных мемуаров этих людей, из пастухов и землепашцев дослужившихся до капитанов, полковников и генералов, чтобы увидеть, какие чудеса делала вера армии в императора. Они рассказывают о предстоящих в том или другом походе трудностях, которые кажутся неодолимыми. А в заключение — мысль, которая, как сноп солнечных лучей, разгоняет все мрачные предвидения: “*Mais l’Empereur était là!*” («Но там был император!») Слово человека устыдилось, что забыл про своего императора и допустил сомнениям закрасться в душу.

Александр никогда не вызывал таких чувств. Наоборот, когда люди ожидали от него какого-нибудь решительного шага, они заранее питали уверенность, что он сделает не то, что нужно. В один из самых решительных моментов русской истории, когда Россия стояла перед тяжелой извилиной судьбы, в 1812 году, армия почти потребовала от Александра, чтобы он покинул ее. Александр чувствовал на себе тяжесть всеобщего недоверия к своим силам и, быть может, потому искал удовлетворения в дешевой популярности, какую ему нетрудно было снискивать дарами своей внешней обаятельности.

<...> По сравнению с Наполеоном Александр был как воск перед железом. Казалось, что при столкновении на смерть он обречен на гибель бесповоротно, что ему придется перед неудержимым натиском первого полководца мира «уйти в Сибирь, отпустить бороду и пахать там землю» где-нибудь в глуши. Но вышло иначе. Александр остался на своем престоле в Петербурге, а его противник попал на «неведомый гранит», затерявшийся среди океана, и уже не вышел оттуда живым. Значит ли это, что Александр в конечном счете был крупнее? Или что он лучше ощущал нерв своей эпохи? Мы видели, каков он был, как человек, по сравнению с Наполеоном. Но отбросим личные сопоставления. Возьмем результат деятельности обоих. Если бы Наполеон не был побежден, сам он, быть может, сумел бы упразднить последние остатки революционных учреждений. У него на это хватило бы силы. Для жалких эпигонов роялизма это оказалось задачей непосильной. Осталось все то, что укреплял своим творческим умом Наполеон; социальный строй революции, административные учреждения, Code civil, цветущее государственное хозяйство. В 1815 году после стольких страданий, истерзанная двумя нашествиями, истекающая кровью, обезлюдевшая

Франция была все-таки самой богатой страной в мире. После Александра Россия осталась под знаком Аракчеевщины и Фотиевщины<sup>25</sup>, погруженная в пучину реакции, с военными поселениями, с испарившимися надеждами на крестьянскую волю, обнищавшая.

Францию Наполеон хотел сделать царицей мира, но не мог. России Александр добровольно, повинувшись только своему тщеславию, создал могущественных соседей, Пруссию и Австрию, которые с тех пор и до нынешней войны, как два тяжелых ядра, мешали нам свободно двигаться на арене международного соревнования. В Европе Наполеон сеял блага, которые революция даровала Франции: разрушение феодальных цепей, свой гражданский кодекс, освобождение от абсолютизма. Он показал Италии путь к объединению, положил начало германскому единству, очистил Испанию от инквизиции, дал южным славянам национальное знамя «иллиризма». Александр укреплял троны королей, с Меттернихом ковал оковы для народов, преследовал либерализм, ласкал и поощрял доносчиков, как Стурдза<sup>26</sup>, шпионов, как Коцебу<sup>27</sup>, фанатиков реакции, как Фр. Шлегель<sup>28</sup>, проходимцев-ретроградов, как Генц. Чем объяснить это огромное различие? Не личными качествами, ибо при всем личном несходстве оба одинаково пришли к деспотизму, и деспотизм был одинаково дорог обоим по династическим побуждениям. Причина была другая, и мы уже указывали на нее в начале. Хотя оба стремились к деспотизму у себя дома, они должны были разойтись в путях своей международной политики. Наполеон был представителем буржуазной культуры Франции, созданной революцией и начавшей свое наступление. Александр был сын феодально-крепостнической культуры России, еще достаточно сильной, чтобы отстоять себя от либеральных покушений, достаточно жизнеспособной, чтобы предпринять своего рода *retour offensive* (переход к наступлению) против угрожавших ей новых идей. И феодально-крепостническая культура пока победила. Но ее победа не изменила ничего в самом главном. Она все-таки была осуждена историей. Будущее все-таки принадлежало ближайшим образом культуре буржуазной. Отсюда и разная судьба Александра и Наполеона в глазах последующих поколений. По мере того как реакция распускала свои черные крылья, — слава Александра в Европе, с таким трудом завоеванная в 1813 и 1814 годах, меркла в удушливом тумане иезуитизма и застеночной практики, а из дальнего моря вставал в золотом облаке легенды очищенный и просветленный, озаренный лучами неувядаемой уже славы — образ великого императора французов.

